Алексей Михайлович скончался буквально через несколько дней после падения Соловок. Аввакум увидел в этом волю провидения и вскоре уже излагал в одном из посланий обстоятельства, при которых будто бы умирал Алексей Михайлович. По этой легенде, царь «расслаблен был прежде смерти». В бесконечных муках, в отчаянии он взывал к погибшим:

— Господие мои, отцы соловецкие, старцы, утешьте меня, дайте покаяться в воровстве своем — как беззакония совершал, как от веры христианской отвергся, как вашу соловецкую обитель под меч подклонил!.. Иных за ребра вешал, а иных во льду заморозил, и боярынь живых, засадя, уморил в пятисаженных ямах. И иных пережег и перевешал... Утешьте!

А изо рта и носа у него сукровица потекла, «бытто из зарезанныя коровы». И бумаги хлопчатой не могли напастись, затыкая царю ноздри и горло.

— Пощадите, пощадите! — будто бы кричал, умирая, царь.

— Кому ты, государь, молишься? — спрашивали его.

— Соловецкие старцы пилами трут меня и всяческим оружием, — отвечал он. — Велите войску отступить от монастыря их!

«А в те дни уж посечены быша», — заключил Аввакум.

58

Еще до кончины Алексея Михайловича возненавидел его Аввакум как мучителя и губителя людей. Перегорела в нем надежда на «исправление» царя. А ведь прежде, признавая достоинства государя, Аввакум писал: «Ведаю разум твой; умеешь многие языки говорить, да што в том прибыли?» Он бил на патриотические чувства царя: «Ты ведь, Михайлович, русак, а не грек. Говори своим природным языком; не уничижай его и в церкви, и в дому, и в пословицах». А то начинал стыдить: «А ты, миленькой,

посмотри-тко в пазуху-то у себя, царь християнской! Всех ли християн тех любишь? Перестань-ко ты нас мучить тово! Возьми еретиков тех, погубивших душу свою, и пережги их, скверных собак, латынников и жидов, а нас распусти, природных своих. Право, будет хорошо. Меня хотя и не замай в земле той до смерти моей; иных тех распусти».

В своих посланиях Аввакум часто возвращается к раздумьям о царе и пределах его власти.

Враг царя омрачил. Как ему льстили, как величали — благочестивейший, тишайший, самодержавнейший государь наш, такой-сякой, великий, больше всех святых от века! Вот он и возомнил, что и впрямь таков, святее его нет!

Много мучительства сотворил Алексей Михайлович, крови неповинной реки потекли. А ведь царства у него никто не отнимал, просто по совести хотелось жить, по своему закону. И за это пластают и вешают людей. В Москве жгут, и по городам жгут, митрополиты и воеводы. Помер царь, а дело его и ныне делают.

Безумцы никониане, утесняя душу свою, говорят:

«Не на нас-де взыщется, нам-де что? Предали патриархи и митрополиты с архиепископами, мы-де и творим так».

На великих ссылаются.

А патриархи на соборе говорили ему, Аввакуму:

«Не на нас взыщется, но на царе! Он изволил изменить старые книги».

Царь тоже ответа держать не хотел:

«Не я. Так власти изволили».

А кто эти власти? Никон? Как-то он при духовнике Стефане вздыхал, как-то плакал, овчеобразный волк. В окно нищим деньги бросает; едучи, по пути нищим золотые мечет! А мир-то слепой хвалит: такой-сякой, миленький, не бывал такой от веку! А бабы молодые... тешат его, великого, государя пресквернейшего! Миленький царь Иван Васильевич скоро бы указ сделал такой собаке.

Говорят, антихрист Никон. Нет, Никон — шиш антихриста. Не патриархом, а царем будет антихрист. И родится

он от отца Иакова-Израиля и матери Валлы Рахилины. Сперва будет казаться людям кроток и смирен, милостив и человеколюбив: слово в слово, как и Никон, ближний предтеча его, плакать горазд. Обманет он людей, и пойдут они за ним по своей воле...

Так думал и писал Аввакум.

И он рисовал карикатуры на Никона на бумаге, а не было ее, то на бересте. И надписи делал язвительные и неприличные, обличавшие развратное поведение Никона. Сам Аввакум никогда не был ханжой и, отвергая крайний аскетизм некоторых своих сторонников, цитировал: «Честен брак и ложе не скверно».

Сатирические сочинения и карикатуры Аввакума расходились по Руси.

Аввакум был не только великим оратором, не только великим писателем, разрушавшим каноны тогдашнего неудобоваримого книжного языка, не только публицистом, поднявшим критику до небывало высокого художественного уровня, он был и первым известным русским карикатуристом.

Рисовал он карикатуры и на митрополитов Павла с Иларионом, и на восточных патриархов, и на царя. Ненависть его к Алексею Михайловичу была уже такова, что он под конец велел через сыновей своим сторонникам царскую гробницу «дехтем марать».

Это кощунственное распоряжение объясняется тем, что в аду и только в аду видел место Аввакум покойному государю. «А мучитель ревет в жюпеле огня. На-вось тебе столовые, долгие и бесконечные, пироги, и меды сладкие, и водка процеженная, с зеленым вином! А есть ли под тобою перина пуховая и возглавие? И евнухи опахивают твое здоровье, чтобы мухи не кусали великого государя? А как там срать-тово ходишь, спальники робята подтирают гузно-то в жупеле том огненном?.. Бедной, бедной, безумное царишко! Что ты над собою зделал?.. Ну, сквозь землю пропадай, блядин сын!»

В то время надо было иметь великую дерзость мысли, чтобы так писать. А черпал эту дерзость Аввакум в своем

представлении о равенстве всех людей перед богом. В «Евангелии учительном», изданном в 1652 году, он мог прочесть, что всем людям одинаково даны «разум и самовластие», «равно сияет солнце на всех: на благих и на лукавых...»

«Ныне же равны вси здесь на земли, — писал Аввакум, — нечестивии ж и паче наслаждаются». Его рассуждения о равенстве православных, братьев «по духу», мало отличаются от заветов раннего христианства. Но Аввакум не терпел отвлеченности. Примеры из русской действительности придавали евангельским идеям острое социальное звучание.

Аввакум выступал в защиту личных достоинств человека, считая, что люди равны по своей природе. Богатую и родовитую Морозову он иронически спрашивал: «Али ты нас тем лучше, что боярыня?»

Из этого не стоит делать вывод, что Аввакум был последовательным борцом за демократию, но в условиях строго иерархического общества уже само подобное рассуждение обладало огромной взрывчатой силой. И нетрудно себе представить, как воспринимались послания Аввакума в народе.

59

Суете, всему «внешнему» Аввакум противопоставлял напряженную духовную жизнь. Для чего живет человек? Стяжательства ли ради? Не имеют ценности богатства Морозовых, не говоря уже о бедняцком имуществе — «мешок да горшок, а третье — лапти на ногах». Тем, кто трусил и ссылался на то, что дети малы, жена молода, разоряться не хочется, Аввакум приводил в пример стойкость Морозовой и ее подруг.

«А ты — мужик, да безумнее баб, не имеешь цела ума: ну, детей переженишь и жену утешишь. А за тем что? Не гроб ли?..»

Есть и спать для того, чтобы жить. Жить для того, чтобы есть и спать. Начисто отвергал Аввакум подобную «фи-

лософию». Смысл жизни был для него в борьбе, в напряженном искательстве «правды». Он обличал «пьяных и блудных», поработившихся «страстям века сего», и славил тех, кто мог гордо сказать:

— Никово не боюся, ни царя, ни князя, ни богата, ни сильна, ни диявола самого!

Туго набитое «чрево» становится у Аввакума как бы символом и причиной всех зол. Даже отход от раскола князя И. И. Хованского он объяснял боязнью вельможи «покинуть» фаршированные куры и крепкие меды. Князь церкви, в описании Аввакума, непременно был толсторожим и «колебал» упитанным брюхом. Новый фасон иерейской одежды с высокой талией давал ему повод для ядовитых восклицаний:

«А ты, что чреватая жонка, не извредить бы в брюхе робенка, подпоясываешься по титькам! Чему быть? И в твоем брюхе-то не меньше робенка бабья накладено беды-то, — ягод миндальных, и ренсково, и романеи, и водок различных с вином процеженным налил. Как и подпоясать? Невозможное дело — ядомое извредить в нем!»

В том же «Евангелии учительном» говорилось, что человек «самовластно» выбирает, как ему жить. «Никого не понуждает бог: или добре живет, или зле...» Аввакум, наверно, не раз возвращался к этой мысли и опять же не мог воспринять ее отвлеченно. Понимание «добра и зла» он переводил из моральной плоскости в чисто политическую. Зло для него было заключено в «никонианстве», иные критерии оценки человека как-то стушевывались — их подавлял жесткий партийный принцип. Здесь — добро, там — зло. Здесь — высокая духовность, там — низменная страсть к обогащению, суетное желание сделать карьеру любой ценой.

— Жги, государь, крестьян; а нам как прикажешь, так мы в церкви и поем. Во всем тебе, государь, не противны; хоть медведя дай нам в алтарь, и мы рады тебя, государя, тешить, лишь нам погребы давай да кормы с дворца.

Так, по Аввакуму, будто бы говорили царю церковные власти, готовые ради дворцового «пайка» поощрять любые преступления против народа.

О своем враге, митрополите крутицком Павле, Аввакум писал:

«Тот не живал духовно, — блинами все торговал, да оладьями, да как учинился попенком, так по боярским дворам блюды лизать научился; не видал и не знает духовнаго-тово жития».

В житейских примерах своих Аввакум порой опускался до сплетни. Все годилось в дело, когда речь шла о развенчании врагов. Так же все годилось для обмана никониан. В своих советах старообрядцам Аввакум мастерски рисует целые житейские картины, поясняя ими, как вести себя с начальниками и попами. Впрочем, он не отговаривал своих сторонников от царской службы, советовал скрывать свои взгляды, продвигаться и «добро творить».

Аввакум гордился своей славой учителя. «Мне неколи плакать, всегда играю с человеки... В нощи что пособеру, а в день и рассыплю». Ему верили, но иные его советы были жестокими...

Отчаявшись найти правду, поиски которой стали смыслом его жизни, Аввакум писал другу: «Пропала, чадо, правда, негде соискать стало, разве в огонь, совестью собрався, или в тюрьму — по нашему».

60

Не только «капитоны», но и десятки «правоверных» старообрядцев проповедовали:

— О братие и сестры! Радейте и не ослабейте! Великий страдалец Аввакум благословляет и вечную вам память воспевает. Текайте да все огнем сгорите. Подойди-ка, старче, с седыми своими власами! Приникни, о невеста, с девическою красотою! Воззрите в сию книгу, священную тетрадь — не мутим мы вас, не обманываем! Зрите слог сло-

вес и чья рука! Сам сие чертал великий Аввакум, славный страдалец...

Однажды Аввакум написал: «Знал я покойника Доментиана: прост был человек... а конец пускай добре сотворил; отступников утекая, сожегся».

Тюменский поп Доментиан стал иноком под именем Даниила. К его келье, что была под Тобольском, пришли люди из многих городов и уездов и, побуждаемые фанатиками, требовали «крещения огнем». Старец Даниил просил совета у своего духовного отца инока Иванища.

— Заварил кашу, — ответил тот, — ну и ешь ее, как знаешь.

1 700 человек сгорело с Даниилом.

Огонь и меч опустошал русскую землю. Когда разбили Разина, на многих тысячах виселиц закачались тела, кровью пропиталась земля городских площадей. Не было спуску и раскольникам.

Узнав, что идут подьячие и начальники с солдатами и понятыми, раскольники приходили в крайнее возбуждение. Уже настроенные фанатиками, они клялись друг другу не даваться в руки солдат живыми.

Крестьяне бежали к проповедникам и кричали:

— Враг беды с напастями и бурю с огнем воздвиг! Секут да рубят, кончина пришла! Заставы и приставы на всякой версте; едет ли кто, идет ли, кричат: как крестишься? Что медлишь, старче! Невозможно стало жить...

Все вместе они запирались в часовне, в церкви, в избе или овине, заваливали окна и двери бревнами и разобранными заборами, прокладывали везде смольем и соломой и ждали «гонителей». Огонь зажигался лишь при нападении солдат.

Самосожжение не было особенным раскольническим догматом. Самоубийство запрещено религией. Сжигались скорее от отчаяния.

Только на родине Аввакума,в нижегородском Закудемском стану, в овинах сгорели «тысячи с две» крестьян с женами и детьми.

Недоброе дело сделал Аввакум, одобрив самосожжение...

Однако согласны с Аввакумом были не все...

Одним из руководителей старообрядчества в Поморье был Досифей, бывший игумен Беседного Никольского монастыря близ Тихвина. Пользовался он громадным влиянием. «У отца Досифея благословения прошу, и старец Епифаний также, по премногу челом бьет», — писал Аввакум.

Досифей и его окружение боролись с гарями. Он настоял, чтобы «самовольных мучеников» признали за самоубийц. Ученик и друг Аввакума известный инок Сергий набросился на Досифея:

— Ты уничижил рассуждение великого страдальца!

— Сатана за кожу тебе залез! — ответил Досифей.

К этому времени уже пестр стал раскол. Раздоры дробили старообрядцев на мелкие секты. Аввакум с тоской писал: «Уже друг друга гнушаетеся, и хлеба не ядите друг с другом. Глупцы! от гордости, что черви капустные все пропадете... **У нас повсюду ропот, да счет, да самомнение с гордостью, да укоризны друг на друга, да напыщение на искренних, да всяк учитель, а послушников и нет»** (выделено мною. — *Д. Ж.*)

А нет единства, нет и силы, как ни ревностен каждый по отдельности. Слова Аввакума верны и сегодня.

«Доброе дело содеяли, чадо, Симеоне, надобно так», — цитировал Сергий письма Аввакума и давал их переписывать. А потом заверял: «Аввакум писал своею рукою здесь». Но противники самосожжения не дремали.

Ученик Досифея инок Ефросин ходил по городам, где заправляли фанатики, и устраивал диспуты. В городе Романове он будто бы убедил всех, а потом слышит, как некая «девка-дуравка» ходит по улицам и рассказывает:

— Наши подьячего взяли, день и ночь пишут, чем уличить Ефросина и из города выгнать...

Страшную злобу питали друг к другу «братья по вере». В том же Романове скрывалась раскольница княгиня Анна

Хилкова, выступавшая против самосожженцев. Ей отказывали в крове, грубили и досаждали, даже едва «голодом не уморили».

Встречу свою с проповедниками самосожжения Ефросин описывал так:

«Поликарп долу главу поник, покашливает; Андрей, седя на лавке, поезживает; подьячий из кута, что волк, позирает; все друг на друга поглядывают».

— Почему поборствуешь и вшивишь? — говорили они. — Почему людям гореть не велишь?

— Не ты ли, губитель, душеяд и душеглот, по целому граду глотаешь? Белев свой проглотил уже, и Романов хочешь пожрать! Не проглотишь, вем: подавишься молитвами страдальца отца Аввакума! — кричал Поликарп Петров.

Ему вторил проповедник Андрей. «Яко ерш из воды, выя колом, голова копылом, весь дрожа и трясясь от великой ревности, брада плясаше, зубы щелкаху».

Выразительно писали в XVII веке, точно и красочно.

Долго боролись сторонники Досифея и Ефросина, прежде чем гари пошли на убыль.

61

Критики Аввакума не раз обвиняли его в грубости языка и в «мужичьем безумном умствовании». Сам Аввакум писал: «Я ведь не богослов; что на ум попало, я тебе то и говорю». Неистовым борцом, а не глубоким мыслителем проявляет себя Аввакум в своем литературном творчестве.

Но писатель-то Аввакум был замечательный. Именно этот его талант заставлял так напряженно прислушиваться к нему современников и вызывал восторженные отзывы последующих поколений великих русских литераторов.

Отказавшись от условностей и традиций средневековой литературы, Аввакум смело ввел народное просторечие в

книжный язык. Ему чужды были обычные для того времени риторические украшения, фразы его до предела насыщены, как говорят сейчас, «информацией». Это особенно отчетливо проявилось в его «Житии», где, не в ущерб ясности, словам чрезвычайно тесно, где каждая фраза едва ли не законченный эпизод.

И в каждой строчке, написанной Аввакумом, виден русский человек. Не зная иной действительности, кроме русской, в своих поучениях он даже персонажей религиозных книг изображает как своих современников. «У *богатова человека* Христа из евангелия ломоть хлеба выпрошу, у Павла Апостола, у *богатова гостя,* ис посланей его хлеба крому выпрошу; у Златоуста, у *торговаго человека,* кусок словес его получю, у Давида царя и у Исаи пророков, у *посадцких людей,* по четвертине хлеба выпросил; набрав кошель, да и вам даю...»

Вот Адам и Ева после грехопадения «проспались бедные с похмелья, оно и самим себе сором: борода, ус в блевотине, а... со здравных чаш голова кругом идет и на плечах не держится! А ин отца и честного сын, пропився в кабаке под рогожею на печи валяется!».

У Аввакума «на кресте Христа мертва в ребра мужик стрелец рогатиною пырнул. Выслужился... пять рублев ему государева жалования, да сукно, да погреб! Понеже радеет нам, великому государю». Это уже не только бытовая сцена. Она имела глубокий политический и психологический смысл для русского человека XVII столетия, а современному читателю дает яркое представление о той эпохе. Да и о нашем времени не дает забыть.

Брань и молитва... Интимные переживания и семейный быт... Высокие патриотические мысли и мучительные поиски пути для России... Все это вошло в его сочинения. Была в них и высокая поэзия.

О замученных Морозовой, Урусовой и Даниловой он написал «О трех исповедницах слово плачевное», которое можно счесть стихами и написать так же:

Увы, увы, чада моя прелюбезная!
Увы, други моя сердечная!
Кто подобен вам на сем свете!..
Увы мне осиротевшему!
Оставиша мя чада зверям на снедение!..
Увы, увы, чада моя!
Никто же смеет испросити
у никониан безбожных телеса ваша блаженная,
бездушна, мертва, уязвенна,
поношеньима стреляема,
паче же в рогожи оберченна!
Увы, увы, птенцы мои, вижю ваша уста безгласна!..
Оле, чюдо! о преславное!
Ужаснися небо,
и да подвижатся основания земли!..
Соберитеся, рустии сынове,
соберитеся, девы и матери,
рыдайте горце и плачите со мною вкупе
другов моих соборным плачем...

62

Однажды случилось в Москве вот что.

Сербский архидьякон Иван Плешкович пришел как-то в мастерскую к знаменитому иконописцу, «царския палаты начальнейшему изографу» Симону Ушакову[1] и увидел только что написанный образ Марии Магдалины. Не изможденная христианская святая смотрела на него с иконы, а, как выразился тогда еще живой инок Авраамий, «блуд-

[1] Любопытно, что Симон Ушаков был родственником митрополита суздальского Илариона (Ровинский Д. А. Обозрение иконописания в России до конца XVII века. Изд. Суворина. 1903, с. 167). Не лишне напомнить, что Иларион был из «нижегородских пределов», провел детство и юность в окрестностях Макарьевского монастыря, женился на сестре Павла Коломенского, знавал у себя на родине Никона, Неронова и Аввакума.

ница»... Написанная ярко, в новомодной манере, она могла служить иллюстрацией к словам Аввакума, которыми он описал внешность богатой щеголихи: «А прелюбодейца белилами, румянами умазалася, брови и очи подсурмила, уста багряноносна, поклоны ниски, словеса гладки, вопросы тихи, ответы мяхки, приветы сладки... рубаха белая, ризы красныя, сапоги сафьянныя. Как быть хороша!»

Иван Плешкович возмутился и даже плюнул.

— Не приемлю! — рявкнул архидьякон и принялся хулить «световидные образы» Симона Ушакова. Присутствовавший при этом ученик Симона и сам уже изрядный мастер Осип Владимиров вступил с Плешковичем в спор. А поскольку Иван Плешкович был не одинок в своем неприятии новой манеры, Владимиров написал трактат об искусстве «Послание некоего изуграфа Иосифа к цареву изуграфу и мудрейшему живописцу Симону Федоровичу».

Из этого сочинения и стало известно о споре с архидьяконом, которого Владимиров называл «лаятелем», «блекотливым козлищем», «злозавистным». Восторженно отзываясь о западноевропейской живописи, знаменщик, а иначе художник Печатного двора Владимиров, хвалил мастеров, следующих «благотелесному образу», отчего всякая их икона «светло и румяно, тенно и живоподобне воображается».

Иностранные художники, по мнению Владимирова, хорошо изображают «царские персоны», в том числе и образ «российского царя». И он задает явно провокационный вопрос:

— Об этом царевом образе как рассуждаешь, Плешковиче? Надо ли такую царскую персону хвалить и любезно почитать?

Попробуй тут возражать, и тотчас припишут оскорбление «царского величества». Придворным живописцам всегда было легко постоять за себя.

Царские иконописцы пренебрежительно отзывались о народных художниках, о «мазарях», почему-то отождествляя неискусные работы некоторых с русским искусством

вообще. Владимиров высмеивал иконы, которые «Шуяне и Холуяне, Палешане на торжках продают». Сам он был посадским человеком, но уже усвоил аристократический тон, уверяя, что мужикам «скорее бы гончарствовати, а не иконы писать».

Владимиров делал вид, что никогда не любовался иконами старых мастеров в кремлевских соборах. Правда, закопченные и потускневшие, они могли и не производить сильного впечатления. Но дело тут было еще и в другом. Яростный сторонник никоновской реформы, он считал, что в русских книгах от невежества допущены ошибки и теперь они «исправляются от премудрейших», греческих. «Тако же, господине, и в иконах», — заключал он.

Расцвет русской иконописи падает на XIV—XVI века. Победа над татарами, идея третьего Рима... Икона тогда не была личным достоянием изографа. Иконописец, как бы растворяясь в народной массе, был выразителем ее переживаний, ее победно-торжественного настроения, ее ощущения соборности. Реалистические подробности не отвечали этому настроению. Благоговейное отношение к своему делу, длительные посты перед самым процессом иконописания исключали какую бы то ни было будничность... Принято было даже думать, что самые прославленные иконы писались несознательно — некая «высшая сила» водила рукой художника...

В XVII веке расцвело то, что принято называть «русским барокко», с его нарядностью, затейливостью, красочностью. Но вместе с проникновением западной культуры при Алексее Михайловиче постепенно менялась и живопись. Главным становилось личное мастерство художника, а не общественное настроение. Ослабла символичность искусства, духовность его. Появилось желание поразить какой-нибудь отдельной деталью, стремление если не к реализму, то к реалистичности.

Аввакум утверждал, что если прежде художники, «добрые изуграфы», создавая иконы, писали руки и ноги тонкими, а лица изможденными «от поста, и труда, и всякия

им находящия скорби», то ныне образа пишутся по образу и подобию тех, кто больше заботится о брюхе, чем о душе. «Пишите таковых же, как вы сами: толстобрюхих, толсторожих и ноги и руки яко стульцы».

Отказ от духовности, как считал Аввакум, ведет к оскудению искусства. Выступая против господства сытой плоти и житейского тщеславия, предугадывая дух мертвой и мертвящей рассудочности, которым уже пахнуло с Запада, Аввакум в своей беседе «Об иконном писании» жестоко высмеивал новые веяния. У образов теперь «лице одутловато, уста червонные, власы кудрявые, руки и мышцы толстые... тако же и у ног бедры толстые», разве что «сабли при бедре не писано». Заносясь в своем неприятии всего нерусского, Аввакум восклицал: «Ох, ох, бедная Русь, чего-то тебе захотелось немецких поступков и обычаев! А Николе-чудотворцу дали имя немецкое: Николай...» Обидно было ему за любимого святого русских людей, который в свое время совсем в духе Аввакума «Ария, собаку, по зубам брязнул».

Аввакум считал, что национальный тип иконных ликов подменяется нерусским, и в этом он был не одинок. Иван Плешкович тогда, в мастерской Ушакова, кричал:

— Немчина вынесли на гору на кресте том написанного!

Обвиняя Плешковича в том, что тот любит «темнообразие икон и очаделые лицы святых», Осип Владимиров спрашивал:

— Весь ли род человеческий во едино обличье создан? Все ли святые смуглы и тощи были?

Впрочем, спор о русской иконописи XVII века продолжается до наших дней...

63

Еще надеясь на перемены, Аввакум послал челобитную царю Федору Алексеевичу. «А что, государь-царь, как бы ты мне дал волю, я бы их, что Илия-пророк, всех пере-

пластал в един день. Не осквернил бы рук своих, но и освятил, чаю. Да воевода бы мне крепкой, умной — князь Юрий Алексеевич Долгорукой! Перво бы Никона того, собаку, рассекли бы начетверо, а потом бы и никониан тех».

Но эта жажда мести относилась уже к области жестоких мечтаний. Москве было не до Аввакума...

От первого брака у царя Алексея Михайловича было восемь дочерей и пять сыновей. Дочери отличались крепким здоровьем, а сыновья почему-то были хилые, и трое из них умерли еще в детстве. Внезапная смерть Алексея Михайловича привела на престол четырнадцатилетнего мальчика Федора, с распухшими от болезни ногами, оказавшегося в полной зависимости от своего опекуна князя Юрия Долгорукого.

Артамон Матвеев, ведавший после Ордина-Нащокина всей внешней политикой, имел в последние годы большую власть. Он женил вдового Алексея Михайловича на своей воспитаннице и родственнице Наталии Нарышкиной и видел в воцарении Федора закат своей звезды. Матвеев подкупил стрельцов, чтобы они стояли за Петра, маленького сына Наталии, но эта попытка не удалась. Падение Матвеева было предрешено.

Аввакум писал, что Артамон уговаривал «царя со властьми — возьми да пали бедных наших, и Соловки не пощадили». И случилось так, что снова встретились они друг с другом.

Помимо прочего, Матвеева обвинили в умысле на жизнь государя, потому что в ведении его находились и лекарства, аптекарская палата. И если сперва его отсылали в почетную ссылку воеводой в Верхотурье, то потом на пути догнали, отняли книги лечебника и велели ему выдать своих людей «Ивана еврея и карлу Захара». Долго велось следствие, как составлялось и подносилось лекарство больному царю... Обвиненный в чернокнижии, Матвеев с сыном был сослан в «место плачевное», в Пустозерск.

Там он «развратил» местного попа, обращенного было Аввакумом в старую веру.

— Артамон — ученый ловыга, плут, и цареву душу в руках держал, а сия ему тварь — за ничто же, — говорил протопоп.

В беде Артамон оказался нестойким, без конца писал жалобы в Москву. А ведь держали его в куда лучших условиях, чем Аввакума.

В 1680 году Матвеева перевели на Мезень. Он и оттуда писал царю: «А что... жалованья дано... и того будет на день нам... по три денежки... А и противникам церковным, которые сосланы на Мезень, Аввакума жена и дети, и тем твоего государева жалованья на день по грошу на человека, а на малых по три денежки, а мы, холопи твои, не противники ни церкви, ни вашему царскому повелению».

Суровый патриарх Иоаким взялся и за Никона, жившего в Ферапонтовом монастыре. Следствие показало, что властолюбивый Никон там жил не только вольно, но и по-прежнему называл себя патриархом. Напившись, тиранил людей безвинно. Занимал двадцать пять келий, затевал мелочные ссоры с монахами, сожительствовал с женщинами... Собор по настоянию патриарха постановил перевести Никона в Кириллов монастырь, поручить его заботам двух старцев, а мирян и других иноков к нему в келью не пускать.

Но при дворе Никона не забывали. У него находились могущественные заступники, которые говорили о нем царю Федору только хорошее. К тому же царь посетил недостроенный Никоном Воскресенский монастырь (Новый Иерусалим). Эта величественная постройка понравилась ему. Он решил довершить ее и даже предложил патриарху Иоакиму перевести Никона в эту обитель. Иоаким, испугавшись такой близости соперника к Москве, наотрез отказался дать свое согласие.

— Свержен он не нами, а великим собором и вселенскими патриархами. Мы не можем возвратить его без их ведома. Впрочем, государь, буди твоя воля, — сказал он царю.

Соловьев, вслед за историком Татищевым писал: «Есть известие что Симеон Полоцкий, не ужившийся с Иоаки-

мом, хотел употребить Никона орудием для его удаления и уговаривал своего царственного ученика установить в России четырех патриархов на местах четырех митрополитов, в Новгороде, Казани, Ростове и Крутицах, послать Иоакима патриархом в Новгород, а Никона возвратить в Москву и назвать папою».

Созван был даже собор, так и не решивший дело Никона. А Никон в это время был уже при смерти. Иоаким велел похоронить его как простого монаха, но дело дошло до царя, который добился, чтобы бывшего патриарха похоронили в Воскресенском монастыре.

Умирающего Никона везли на струге по Волге. В Толгском монастыре он приобщился. Когда струг вошел из Волги в реку Которосль, Никон скончался.

Это было 17 августа 1681 года.

64

В Пустозерске к тому времени тюрьма стала обширнее. Сидели тут и разинцы, и соловецкие мятежники...

Пустозерский воевода Тухачевский докладывал: «А ныне и впредь велено приказывать караульным стрельцам накрепко, под смертною казнею, чтобы они тех колодников держали в тюрьме с великою крепостью... И те тюрьмы, где сидят Аввакум с товарищи, сгнили, и тын, что возле тех тюрем, погнил и развалился...»

Ему вторил и Андриан Тихонович Хоненев, воевода с 1680 года:

«Да в Пустозерске же, государь... тюрьмы, где сидят ссыльные Аввакум с товарыщи, все худы и развалились же, а починить тех тюрем нельзя, все сгнили, а вновь построить без твоего, государя, указу не смею».

Хоненеву велено было строить «тюремной двор с великим бережением, чтоб из тюрьмы из колодников кто не ушел; а строить преж велеть тюремный тын с великим же остерегательством».

Сгнили и осыпались бревна зарытых в землю срубов, не устояли тюрьмы перед разрушительной работой времени и сырости, а вот узники выстояли, не сдались. Никакие «остерегательства» не могли пресечь их связи с волей. Среди сотни стрельцов пустозерского гарнизона всегда находились как сочувствовавшие, так и те, которых можно было подкупить.

В Москве готовилось открытое выступление сторонников Аввакума. И он принимал в его подготовке деятельное участие.

В истории России Аввакум мог стать фигурой не менее крупной, чем Лютер в Германии. Но не стал. Исторический смысл социально-религиозной деятельности каждого был различен. И тем не менее сопоставить эти две личности чрезвычайно любопытно. Аввакум был одарен не менее Лютера и так же прекрасно владел пером. Как и немец, он не считал неизбежной победу сил зла. Как и у Лютера, отождествлявшего Рим с блудницей вавилонской, мироощущение Аввакума было глубоко национальным, а язык — сочным, народным. И та же злость, привязанность к жизни на земле, к семье...

Мартин Лютер унаследовал от своих простонародных предков выносливость, физическую силу. Пройдя выучку в августинском монастыре, он тщетно требовал от церковной схоластики ответа на свои духовные искания. Лютер жил в ту эпоху, когда Германия еще только становилась на путь, ведущий к национальному и государственному единству. 31 октября 1517 года, возмущенный продажей индульгенций, Лютер вывесил на дверях виттенбергской Замковой церкви свои знаменитые 95 тезисов, вызывая на диспут церковников. Теологические тезисы косвенно посягали на власть папы, отвергали претензии католического духовенства на господствующее положение в немецком обществе. Совпав с оппозиционными настроениями против Рима, они прозвучали как сигнал к выступлению самых различных слоев народа против католической церкви и породили реформационное движение. Церковные власти требовали от

Лютера сказать лишь одно: «Отрекаюсь». Но он не собирался ни отрекаться, ни ехать на церковный суд в Рим. На диспуте в Лейпциге он объявил правильными взгляды чешского реформатора Яна Гуса, а в 1520 году сжег во дворе Виттенбергского университета папскую буллу, отлучавшую Лютера от церкви, и объявил борьбу с засилием папской власти делом всей немецкой нации. У него оказался дар оратора. Образным, метким, грубым языком он обращался к народу.

«Все христиане — священники», — провозглашал он. Право папы толковать писание и его притязания на светскую власть надо урезать, а самого посадить за молитвенник; бесполезный народец кардиналов сократить, змеиную кучу курии свести на одну сотню. Он отвергал безбрачие священников, индульгенции, богомолья. Требовал уничтожения нищенства, обскурантистского преобразования школы (выкинуть из университетской программы «слепого язычника» Аристотеля), свободы отдельных христиан от церковных предписаний, демократических нововведений...

Лютер стал героем немецкого народа. На императорском сейме в Вормсе он упорно стоял на своем. Осужденный сеймом, как еретик, он был спрятан рыцарями в замке Вартбург. Его сперва считали погибшим, а он, лишенный возможности общаться с народом, в своем добровольном заточении делал новый перевод Библии, который потом стал народной книгой и утвердил нормы общенемецкого языка. В своих страстных воззваниях пророчил восстание крестьян, а когда оно действительно разразилось, выступил в поддержку светской власти. «Пусть, кто может, душит и колет, тайно и открыто, и помнит, что нет ничего более ядовитого, вредного, бесовского чем мятежник», — писал он. — «Как осла нужно бить, так простой народ можно только насилием держать в послушании». Он разошелся с гуманистами и объявил разум «блудницей дьявола». В конечном счете Реформация свелась к церковной перемене и усилила власть светских государей. В немецкой истории произошел крупный сдвиг.

В России XVII века национальное и государственное единство было уже давно достигнуто. Царь и патриархи стремились к еще большему усилению власти государства и церкви, лелея планы объединения славянских земель и церквей. Несмотря на демократический и патриотический оттенок, объективно идеология сторонников Аввакума была противоречивой, направленной против закономерностей исторического развития. Не одержав победы, она была обречена на потаенное существование, а те, кто творил ее, — на долгое забвение.

Но движение все же было массовым, распространялось вширь, захватывало крепостное крестьянство. Посадские люди и крестьяне продолжали бежать в глухие леса, отказывались выполнять церковные обряды и государственные повинности. Уже и Аввакум, былой противник бунтов, объявлял народное восстание небесным возмездием царской и церковной властям за их действия. Это и был подлинный раскол. Немало сторонников «старой веры» пошло за Степаном Разиным. Через сто лет Емельян Пугачев провозгласит лозунг борьбы за «старую веру»...

И уже надвигалось московское восстание и стрелецкие бунты. Зная об авторитете Аввакума, об огнепальных посланиях пустозерского узника, власти испытывали тревогу, боялись его.

Собор 1681—1682 годов отметил большое число выступлений посадских людей против церкви и государства и принял решение подвергнуть раскольников жестоким казням. И еще собор не окончился, как в Пустозерск выехал «по нарочной из Москвы посылке стремянный, стрелецкого полку капитан Иван Сергиев сын Лешуков».

Четырнадцатого апреля 1682 года Лешуков сжег Аввакума и его соузников «за великие на царский дом хулы».

1971 г.